

которой людям было бы легче и лучше жить, и радостно действовать, в которой, действительно, «жить станет лучше, жить станет веселѣе».

Нельзя не считаться и с тем, что сейчас в советской России безчисленные чернорабочие «стахановцы», если бы даже они и жили хуже европейских безработных, все-таки чувствуют себя такими же героями и «знатными людьми», как в буржуазных странах только банкиры и «шмуклеры», и что все эти люди, даже когда они окончательно перестанут быть большевиками, не захотят отказаться от своей «рабоче-крестьянской» славы, так как, по приведенным в началѣ этой статьи словам Толстого, человекъ больше всего на свѣтѣ дорожит таким пониманием жизни, при котором он может одобрять себя и гордиться своим положением.

В. Варшавский.

НѢСКОЛЬКО ЗАМѢЧАНІЙ О СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРѢ

В своей статьѣ в № 10 «Нового Града» Ф. А. Степун выдвигает слѣдующія положенія: существует «пореволюціонное сознаніе» — которое автор характеризует как противобольшевицкое; новая русская эмигрантская литература должна отражать это сознаніе, а между тѣм — не отражает его; не отражает потому, что новое поколѣніе русской эмиграціи не видит умственным взором Россіи и потому, что молодые зарубежные писатели находятся всецѣло под влиянием нынѣшней западной литературы со всеми присущими ей чертами болѣзненной извращенности. И далѣе он ставит зарубежным писателям такое заданіе: «...Исторгнутость из Россіи и неприкаянность в Европѣ должна быть превращена в отправную точку всей творческой жизни писателя. Россія, не данная в ежедневном непосредственном содержаніи, должна быть внутренне увидѣна при помощи пристального изученія ея исторіи, культуры, литературы...». Цѣлый ряд возможных возраженій против своих тезисов Ф. А. Степун предвидѣл и отвѣтил на них. И все же при чтеніи его статьи у меня возник ряд вопросов, отвѣтов на которые я в ней не нахожу. Есть «пореволюціонное сознаніе» и есть «пореволюціонная литература». Литература всегда отражает — худо ли, хорошо ли — какое-то «сознаніе». Вѣдь, от литературы мы обыкновенно и заключаем о «сознаніи» того или иного исторического момента, той или иной общественной среды. Выходит, значит, что в зарубежной средѣ как

раз тѣ, кого принято считать выразителями «сознанія», «души», «гения» того момента и той среды, к которой они принадлежат, тѣ, кто в состояніи сыграть эту роль, так как «Бог дал им способность вы- сказать то, что у них наболѣло» (слова гетеевского Тассо) — вѣдь, этим и только этим, казалось бы, отличается художник от прочих людей, — находятся въѣ — уже не Россіи, не Европы, а своей собственной среды и своего момента. Как это понять? Значит ли это, что всякий сколько-нибудь одаренный человѣк в эмиграціи непремѣнно оказывается каким-то духовным уродом? Или что на самом дѣлѣ молодое поколѣніе эмиграціи лишено того «пореволюціонного сознанія», о котором говорит автор? Что то, что составляет содержание этого «сознанія», является для этого поколѣнія не «идей», а просто «идеологіей»?

Предвижу возможное возраженіе. Искусство и жизнь нацѣло не совпадают, поэзія, «беллетристика» не простое зеркало жизни; художник нерѣдко находится в такой зависимости от своих образцов, что «форма», которую он себѣ усвоил, опредѣляет у него «содержаніе». Признаю, что для многих случаев это вѣрно — и все-таки ряд наблюденій автора над нынѣшней зарубежной литературой на меня производит впечатлѣніе анахронизма. Вот примѣр. Когда появились первыя произведения Г. Газданова, критика пришла от них в восторг. На самом же дѣлѣ это была новѣйшая — хотя и талантливая — поддѣлка под Пруста. Именно — поддѣлка, особый вид подражанія, тот, с какого почти всякий художник начинает свою дѣятельность. В послѣдних вещах Газданова «Пруст» — т.-е. то, что у настоящаго Пруста относится к «внѣшней» формѣ, то единственное, что от него было у Газданова, — уже отсутствует. Как всякий даровитый писатель, автор нашел себя; его писательская манера отражает скорѣе вліяніе послѣдняго представителя русской литературы «золотого вѣка», Бунина. Что до содержанія, — оно, как мнѣ кажется, сводится к мечтѣ о «красивой жизни», — как это было, впрочем, и в первых его вещах.

Другой примѣр еще показательнѣе. В эмиграціи выдвинулся писатель, который несомнѣнно, — столь могуче его дарованіе и столь высоко его формальное совершенство, — «войдет в русскую литературу» и пребудет в ней до тѣх пор, пока вообще она будет существовать. Это В. Сирин. Говорить о характерѣ его творчества, о его «идеях», о «содержаніи» нѣт никакой необходимости: слишком хорошо это известно и слишком сам он в этом отношеніи категоричен и ясен. В данной связи важно отмѣтить одно: того «героического настроенія», в каком, по утвержденію Ф. А. Степуна, только и возможно «молодому эмигрантскому писателю найти себя и свой творческій путь» — иначе неизбѣжны «срыва», «погашеніе лица» — у В. Сирина нѣт и слѣда. А между тѣм это как раз писатель,

творческий путь которого был обретен сразу, который идет по нему неуклонно, освобождаясь постепенно от излишней роскоши живописания, от всего того, что в «манерѣ», в «примах», выпячивается, бьет в глаза и даже рѣжет глаз, и который никак не заслуживает упрека в ученическом подражаніи кому бы то ни было из тѣх, кого называет Ф. А. Степун — Жиду, Прусту, Джойсу. Общаго с ними у него, конечно, не мало — и это вполнѣ понятно: на всѣх современниках лежит общий отпечаток; не будь этого, невозможна была бы история литературы и ея периодизация, — однако, если духовное сродство и степень вліянія опредѣляются по «тону», по «голосу», то стоит прислушаться к «голосу» В. Сирин, особенно внимательно звучащему в «Отчаяніи» и в «Приглашеніи на казнь», чтобы замѣтить, что всего ближе он к автору «Носа», «Записок сумасшедшаго» и «Мертвых душ».

Если от прозы обратимся к поэзіи, придем к сходному заключению. Я прочел внимательно, выпущенную недавно «Антологію зарубежной поэзіи»¹⁾ — на каждом шагу мы встрѣчались здѣсь знакомые облики: Тютчева, Анненского, Блока, Ахматовой, даже Баратынского. У иных поэтов это — поддѣлка, у других — подлинное творческое усвоеніе.

Если так, то об отрывѣ современной русской литературы от ея родных литературных истоков говорить не приходится. Одно из средств, рекомендуемых Ф. А. Степуном молодым писателям для излечения от съдающей их духовной болѣзни, стало быть, уже пущено в ход. Между тѣм результаты его примѣненія не таковы, каких ожидает автор.

Ф. А. Степун, может быть, сказал бы: это оттого, что русская литература периода своего расцвѣта сама воспринимается молодыми писателями под извѣстным — и притом невѣрным — углом зрѣнія, в отрывѣ от ея родного лона, — и напомнил бы о сказанном уже им о необходимости пристального изученія не только русской литературы, но и русской исторіи, русской культуры. Что такое изученіе само по себѣ всячески должно быть рекомендуемо всякому русскому человѣку, имѣвшему несчастье родиться и вырасти на чужбинѣ, — это слишком очевидно. Но поскольку дѣло идет о пониманіи русской литературы, как свидѣтеля «народнаго духа», как отраженія русской жизни, ея «устоев», ея «быта», ея «пейзажа», и вмѣстѣ с тѣм как нѣкоторой самостоятельной цѣнности, — надо откровенно сказать слѣдующее: надлежит выбирать между изученіем литературы как исторического памятника и литературы — как и всякаго другого искусства — an und f眉r sich. В первом случаѣ рядовая «беллетристика», пожалуй, пригоднѣе «Анны Карениной», «За-

1) «Якорь». Сост. М. Л. Кантор и Г. В. Адамович. Париж. 1935.

лисок из подполья» или «Маленьких трагедий» Пушкина. Великий писатель связан со своим народом и со своею эпохою лишь условно — иначе как мы могли бы читать и понимать Эврипода и Данте? «Умопостигаемо». Толстой ближе к Шекспиру, чём к Платону Карагаеву, или к дядь Акиму, или даже к Левину и кн. Нехлюдову, и Достоевский ближе к Ницше, чём к старцу Зосимѣ, к Алешѣ, или к Макару Ивановичу. Близость в пространствѣ и времени скорѣе препятствует настоящему пониманію, нежели обуславливает его. Французы 18-го вѣка брали Расина и Корнеля за одну скобку. Единственное неотрывно «русское» у русских великих писателей — это русскій язык, как у французских — французскій, у древних греков — древне-греческій. Но, думается, Ницше и Анненскій лучше понимали Эсхила, Софокла и Эврипода, чём их современники-аѳинянѣ.

Это, во-первых. Во-вторых, и такое пониманіе великих писателей как «чистых субстанцій» не бывает, и не может быть, общебязательным, общезначущим, одинаковым для всѣх. Всякая творческая индивидуальность многогранна и не может быть увидѣна со всѣх сторон. Все вообще воспринимается нами в свѣтѣ нашего собственного жизнѣнного опыта, и всякое познаніе есть узнаваніе, «припомнаніе», anamnesis. Оно обогащает мой духовный опыт, содѣйствует уясненію его в моем сознаніи, но безсильно замѣнить его другим. Пусть попробует сказать Ф. А. Степун, каков подлинный, единственно вѣрный облик русской литературы, как она должна быть показана зарубежному русскому человѣку. Это все равно, что сказать, какова «настоящая» схема рисунка на обоях. Автор, впрочем, уже высказал свой взгляд. Великая русская литература была неразрывно связана с «принципом цѣлостнаго міросозерцанія и общественнаго служенія»; это объединяет всѣх крупных русских писателей, независимо от отдельных «направленій» — общественных или эстетических; все же то, что было «индивидуалистически-профессионального и, в смыслѣ русской традиціи, неорганическаго... сходит... на нѣт». Недостаток этой формулировки — ея чрезмѣрная общность. Слишком многое подводимо под нее. Конечно, Достоевскій вытравлял из себя «подпольного человѣка», и Гоголь всѣ разновидности «мертвой души»; Тютчев, воспѣвая Хаос и Смерть, рвался к Космосу и к жизни, и вся поэзія Анненскаго, поэзія безнадежности, безпросвѣтной тоски, полной отъединенности человѣческой души, может быть истолкована также, как усилие преодолѣть все это, обрѣсти «цѣлостное міросозерцаніе» и волю к «общественному служенію». Но тогда, почему нельзя сказать, что и романы В. Сириня и стихотворенія нѣкоторых поэтов, представленных в «Якорѣ», свидѣтельствуют о той же цѣлеустремленности?

Автор мог бы отвѣтить: разница в том, что Хаос, неблагополучіе, осознаніе в самом себѣ неискренности эгоистического на-

чала — «...свѣту провалиться, а чтоб мнѣ чай всегда пить» — переживались как трагедія,¹⁾ тогда как современные «подиольные человѣки» всѣм этим услаждаются, хваствают, щеголяют. Самозамыканіе «внутренняго человѣка» для них — самоцѣль или — еще хуже — литературная тема; пневматологія у них подмѣняется безплодной фрейдистской психологіей, трагедія — противостоящей сатанической идилліей. В этом — их срыв, их отход с «торной дороги» русской литературы на ея «обочину». Можно ли, однако, утверждать, что это приложимо ко всѣм представителям современной русской зарубежной литературы? Эта общая черта рядаовых писателей автором подмѣчена и охарактеризована безусловно вѣрно, но о чём собственно она говорит? О том, что всякому историческому моменту неизбѣжно присуща своя пошлость, свое искаженіе его «смысла», в котором он, как в кривом зеркалѣ, выступает особенно замѣтно. Было время, когда считалось, что вся русская литература «вышла из-под полы шинели Акакія Акакіевича» (как это понималось, достаточно извѣстно) — и в таком пониманіи была своя доля истины. Рядовые писатели тогда стряпали «бытовые очерки» с цѣлью «будить в читателях теплых чувствъ к жертвам общественной несправедливости», звать их «от мрака к свѣту», и гордились своей «честностью, как нынѣшніе своей «сатаничностью». По существу этого рода вѣрность «лучшим завѣтам русской литературы» была тоже равносильна измѣнѣ, предательству, и вызвала реакцію, в которой Брюсову с его «эстетически-демоническим иллюзіонизмом» (Степун) принадлежит немалая роль. Теперь ясно, что Брюсов — Ф. А. Степун в этом прав безусловно — был эфемеридой; но в свое время он был, с точки зрѣнія діалектики истории, как-то нужен — ибо без него, может-быть, не было бы Блока. Мнѣ кажется, что «торную дорогу» русской литературы автор представляет себѣ уже слишком на матер современных шоссе. На самом дѣлѣ, она вѣтается безчисленными извилинами, крутыми поворотами, подчас развѣтвляется на далеко расходящіяся одна от другой тропинки — подобно всѣм историческим «путям» вообще.

П. Бицилли.

1) См. Л. Шестов, Достоевский и Ницше.